

Петр Горелик

История
**над нами
пролилась**

К 70-летию Победы



Петр Горелик

**История над нами пролилась.
К 70-летию Победы (сборник)**

«Геликон Плюс»

2015

УДК 83.3.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Горелик П. З.

История над нами пролилась. К 70-летию Победы (сборник) /
П. З. Горелик — «Геликон Плюс», 2015

ISBN 978-5-93682-987-1

Книга очерков и воспоминаний Петра Горелика «История над нами пролилась» отличается свежестью взгляда и точностью письма. Автор рассказывает о том, как в интернациональной русско-украинско-еврейской среде отковывался его веселый, добрый и стойкий нрав, о людях, характер которых сформировали небывалые прежде обстоятельства, как вопреки безжалостной эпохе росло и зрело поколение, которому предстояло решать непредставимые исторические задачи – выстоять и победить или сломаться и погибнуть. В ней нет попытки оправдать прошлое. Нет и попытки прошлое очернить. Книга полна достоинства и мужества. Читатель полюбит эту книгу, написанную легко и без всякого пафоса, с той насмешливой, но и гордой интонацией, с какой рассказывают о войне наши деды.

УДК 83.3.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-93682-987-1

© Горелик П. З., 2015

© Геликон Плюс, 2015

Содержание

Слово об авторе и его книге	6
История над нами пролилась	7
Вместо предисловия	7
Самое начало жизни	10
Имя и судьба	12
Две Нины	17
Родители	19
Врачи в моей жизни и судьбе	23
От очарованности к разочарованию	26
Голодомор и Геродот	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Петр Горелик

История над нами пролилась.

К 70-летию Победы (сборник)

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы).»

© Горелик П. (наследники), 2015

© Геликон Плюс, макет, 2015

* * *

Памяти Бориса Слуцкого – друга юности и всей жизни

*Люблю я страну. Ее мощной судьбой
Когда-то захваченный, стал я собой.*

Давид Самойлов

*Я дружбой был, как выстрелом, захвачен...
Осип Мандельштам*

Слово об авторе и его книге

Петр Горелик (1918–2015) – ветеран войны, общевойсковой командир, выпускник Академии им. Фрунзе и многолетний преподаватель тактики, полковник в отставке, мемуарист; ближайший друг Бориса Слуцкого, автор замечательной книги о нем, публикатор наследия Бориса Слуцкого. Мемуары Петра Горелика «Служба и дружба» (2003) поражают свежестью взгляда и точностью письма, а последняя книга очерков и воспоминаний «История над нами пролилась» написана, пожалуй, и посильней, хоть автору уже было за 90. Горелик был из тех людей, которых петербургский философ Александр Секацкий относил к редкой категории «воинов блеска» – людей, в результате многолетнего риска научившихся блистательно презирать опасность. Горелик рассказывает в этой книге не только о харьковском детстве, не только о том, как в интернациональной русско-украинско-еврейской среде отковывался его веселый, добрый и стойкий нрав, но прежде всего о тех людях, которых сформировали небывалые прежде обстоятельства.

Под давлением уникальной советской среды росло и зрело поколение, которому предстояло решать непредставимые задачи, поколение, в котором воплотились заветные мечты России. Давление было таково, что тут одно из двух – или сломаться и погибнуть, или выстоять и выковать в себе фантастические человеческие качества. Никакому из человеческих поколений не пожелаешь такой школы жизни. Горелик рассказывает о двадцатых, тридцатых, сороковых – без ностальгии, без лакировки. Здесь нет попытки оправдать прошлое, нуждается оно в оправданиях или нет. Здесь нет обычной и естественной для мемуариста слабости: «Что пройдет, то будет мило». Горечь воспоминаний Горелика подслащена трезвым и точным осознанием великой участи, выполненной миссии. Книга Горелика – ироническая, часто язвительная – все же не сводит счеты с прошлым: она полна достоинства и мужества. Главное же – она свидетельствует о великих временах и великих страстях, о людях, равных которым мы сегодня не видим.

Читатель полюбит эту книгу, написанную так легко и без всякого пафоса, с той насмешливой, но и гордой интонацией, с какой рассказывают о войне наши деды. Но что гораздо важнее, книга рассказывает о том, как сохранить себя в нечеловеческие времена. Не совсем правы те, кто полагает это абсолютно невозможным. Горелик и его друзья – поэты Борис Слуцкий, Давид Самойлов, Елена Ржевская, Павел Коган, Михаил Кульчицкий, – доказали: время – не приговор, не доминанта, не определяющее условие. Время – стимул и вызов. Мужественная, веселая и увлекательная книга Горелика – о том, как жить, а не выживать, сопротивляться и мужать, подчинять обстоятельства времени, а не подчиняться им. Думаю, более ценного витамина в сегодняшней литературе нет. И потому «История над нами пролилась» кажется мне одной из значимых книг нашего времени, а значит и для будущего ценность ее бесспорна.

Дмитрий Быков

История над нами пролилась

Вместо предисловия

С армией связана большая часть моей жизни. Рано начав службу, я прослужил 42 года. Вышел в отставку после шестидесяти. Десять лет оставался в армии по вольному найму на кафедре. Сегодня мне за 90.

В 70 лет, когда освободился от армии, началась Перестройка. Впервые задумался, чем бы заняться. Подвернулось предложение одного изобретателя. Он арендовал у завода на Васильевском острове старое заброшенное здание. Я должен был организовать его восстановление. За это изобретатель платил мне доцентскую ставку.

Начал с расчистки территории. Возле дома стояло несколько ржавых контейнеров, наполненных отбросами производства – биметаллическим браком. Тяжелые контейнеры загорали вход. Не без труда получил разрешение завода на вывоз. Нашел человека, готового вывезти за «так», без всякого вознаграждения. Поделится своим первым успехом с работодателем. Реакция изобретателя меня удивила: в его взгляде я увидел немного сожаления и много презрения. «Дурачок, – говорил мне его взгляд, – не догадался, что в период “дикого” капитализма этот человек вывез за ворота большие деньги».

Следующий «строительный» шаг был в области энергоснабжения. Предпринял попытку добиться подключения «объекта» к электросети. Месяц ходил по инстанциям, пока мне не дали понять, что за «так» ничего не добьюсь. Надо было дать взятку. К этому не был приучен. Понял, что взялся не за свое дело. И ушел. Кстати, и изобретатель ничего не смог добиться. Уехал со своим изобретением в Америку. Там процветает, и платит налоги американскому казначейству, вместо того чтобы платить российскому.

Меня потянуло к бумаге. Задумал написать книгу для юношества. Написал. Стремился внушить юному читателю, что изучение истории войн не только интересно само по себе, но способствует формированию черт характера, необходимых человеку в повседневной жизни для отстаивания своих убеждений, защиты человеческого достоинства. Я доказывал, что даже при неуклонном соблюдении принципа единоначалия остаётся место для бережного и уважительного отношения к солдату, его личности и жизни. Издателя я не нашел. Для того времени книга воспринималась как антивоенная. Теперь эта книга издана. Называется «Отважное копьё, или Трусливая стрела» (Издательство «Геликон Плюс», Санкт-Петербург).

Человека, припавшего к бумаге, она уже не отпускает. Я начал писать очерки о людях прошедшей войны, статьи, небольшие по объёму воспоминания о друзьях и о себе на войне – о бронепоезде, которым командовал под Москвой, о форсировании Днепра, Вислы, Одера. Меня стали охотно печатать петербургские и московские газеты и журналы. Сначала это очень удивляло, потом – раззадорило, но не вскружило голову. В 1993 году наследники моего школьного товарища Бориса Слуцкого предложили мне продолжить подготовку к печати и издание его литературного наследия. Я не был подготовлен к этому ни образованием, ни опытом. Но долг полувековой дружбы обязывал. Подготовил и опубликовал две книги прозы Бориса Слуцкого и большую книгу о нем, в которую собрал воспоминания 50 авторов. И так увлекся, что между этим серьезным делом, написал собственную книгу воспоминаний «Служба и дружба»

Мысль засесть за воспоминания возникла четырьмя десятилетиями раньше. Изначально она принадлежит не мне. Много лет Борис Слуцкий донимал меня вопросом: «Когда ты начнешь писать мемуары?» Редко какая встреча обходилась без напоминания. «Ты прожил нелегкую жизнь, – говорил Борис, – воевал, встречался с интересными людьми, об этом надо напи-

сать. Годы уходят, ты все забудешь». Замечание Бориса льстило мне: он сомневался в моей памяти, но не в способности писать. Я молчал, отмахивался, свои литературные способности я оценивал не столь оптимистично. Это вызывало у Бориса все нарастающее раздражение.

В середине 60-х годов Борис как-то достал с полки общую тетрадь в кустарном переплете – салатный ситчик в розочку (в такие тетрадки он набело записывал стихи) – и на первом листе написал: «Петр Горелик. Служба и дружба. Мемуары. Том 1-й». Не надеясь, что я когда-нибудь начну, он начал за меня: «Я рос под непосредственным идейным руководством Б. А. Слуцкого». Хотя все происходило в шуточной обстановке дружеского застолья, в присутствии Юры Трифонова и Давида Самойлова, это была шутка с большой долей правды. Книгу я написал. В 2003 году книга вышла из печати. Бориса и многих моих друзей к этому времени уже не было в живых.

Годы шли. Не скрою, страх перед чистым листом, а потом и перед дисплеем компьютера не покидал меня всякий раз, когда я брался за перо. Но будучи не робкого десятка, я преодолел дрожь в коленках. Продолжал работать. Много лет собирал воспоминания фронтовиков, моих товарищей по Обществу ветеранов войны. Публиковал эссе. Память вынесла на поверхность новые воспоминания. Перерыл свой архив – письма друзей, и не только фронтовых, отыскивались ничего не значащие с виду и мало что говорящие непосвященным записки, для меня скрывающие целые пласты жизни. Отобрал то, что, возможно, будет интересно читателю. Так сложилась эта книга. В нее вошли и дорогие мне ранее опубликованные воспоминания.

С Борисом я познакомился в 1930 году... Так случилось, что родители в один и тот же дождливый день ранней весны 1930 года послали нас за керосином. Это предопределило наше знакомство и более чем полувековую дружбу. Если бы я мог в тот день это предвидеть, вряд ли бы с такой неохотой взял грязный бидон и поплелся в очередь.

Борис был школьной знаменитостью и гордостью школы. Его отличала широкая эрудиция, поражавшая не только сверстников, но и учителей. Его коньком была история Великой французской революции. Он знал ее не по школьным учебникам, а по Жоресу. По русской истории его учителями были Карамзин и Ключевский. Его подлинной и до поры глубоко скрытой страстью была поэзия.

Мальчик, который после школы садился за книгу, не заданную учителем, был выше нашего понимания. Но Борис не был «задавакой», эрудиция не испортила его изначально доброго нрава. В нем была сильно развита «шишка» дружбы.

Мы часто встречались вечерами и бродили по слабо освещенным переулкам харьковской окраины. Он нашел во мне благодарного слушателя. В тот первый год нашей дружбы он еще не читал своих стихов. Читал русских поэтов. Потом стал читать свои стихи: «Весь квартал наш // меня сумасшедшим считал, // потому что стихи на ходу я творил, // а потом на ходу с выраженьем читал, // а потом сам себе: “Хорошо!” – говорил». У меня и сейчас, через столько лет, перед глазами Борис, читающий наизусть монолог Антония над гробом Цезаря; с каким чувством, полным сарказма, он повторял: «А Брут достопочтенный человек!»

К шуточному утверждению, сказанному в дружеском застолье, что «я рос под непосредственным идейным руководством Бориса Слуцкого», я отнесся серьезно. В этих словах было много правды. Я задумался над тем, в чем именно выражалось влияние. За более чем полувековую дружбу мы были рядом не так много времени: всего семь школьных лет. Потом армия, война, разлучившая нас на пять лет, и жизнь в разных столицах – он в Москве, я в Ленинграде. Встречи, редко длительные, чаще – эпизодические. Если суммировать – из пятидесяти шести лет нашей дружбы, и десяти не наберется.

Не знаю, почему я прибегнул к арифметике. Дружба как одна из вершин человеческого общения подчиняется более сложным законам. Здесь уместнее сравнение не с арифметическими действиями, а с законами всемирного тяготения, действующими незримо и неотвратимо. Были ли мы рядом или вдали друг от друга, наша дружба не ослабевала, незримые нити

единомыслия, сопереживания и верности прочно связывали нас. Перерывы в общении не способны были ослабить нашу духовную близость.

И все же я уверен, что решающими в смысле «идейного влияния» оказались школьные годы. Борис вовремя перевел меня с накатанного школой и комсомолом пути, нивелировавшего личность. Он открыл передо мной иной мир. «Стрелочным переводом» оказалась поэзия. Борис превратил меня из «читателя газет, глотателя корост» (М. Цветаева) в «читателя стиха» (И. Сельвинский). Первоначального толчка хватило на всю оставшуюся жизнь. Конечно, влияние не ограничивалось поэзией. Оно было всеохватным. Так же как в поэзии я шел от восторга к осмыслению, так и в жизни я стремился от первого впечатления прийти к сути.

Перед войной Борис познакомил меня со своими друзьями – поэтами и писателями. Это был царский подарок. Давид Самойлов, Елена Ржевская, Павел Коган, Миша Кульчицкий, Сережа Наровчатов, Исаак Крамов, Миша Львовский, а после войны Наум Коржавин – приняли меня и помогли держаться на обретенном пути. Друзья Бориса стали моими друзьями.

Вспоминая, какую роль в моей жизни сыграло знакомство и дружба с Борисом Слуцким, я думаю о тех (думаю с сожалением), кому не выпало встретиться в жизни со сверстниками незаурядными, влияние которых если не определяло, то по крайней мере наполняло бы их жизнь поэзией, здоровой любознательностью, терпимостью, дружелюбием.

Самое начало жизни

*Я не запомнил, на каком ночлеге
Пробрал меня грядущей жизни зуд...*

Эдуард Багрицкий

Когда я пытаюсь выудить из памяти подробности самого начала жизни, вспомнить ничего не могу. Всё, что вспоминается, расплывчато и, как я понимаю сейчас, иллюзорно. Всё скорее плод воображения, чем факт действительности. То, что произошло в раннем детстве, покрыто пластами последующих впечатлений, всем жизненным опытом, наконец, вычитанными из книг или услышанными воспоминаниями других людей. Кажется, что так или близко к этому было и с тобой. Я, например, долго думал (и даже писал об этом), что со времени раннего детства мне запомнились часто произносимые мамой три слова – «погром, Кошелевы, дом». Теперь я понимаю, что ничего подобного я запомнить не мог, я еще был в пеленках. Просто позже, когда в сознательном возрасте я узнал, что во время погрома в Белой церкви под Киевом петлюровцы зверски убили ее отца, моего деда, я понял, что о погромах мама не могла не говорить. И представил это как собственное воспоминание. То же самое произошло и с Кошелевыми. Их имя мама должна была часто вспоминать: несколько лет, прожитых под их кровом, были связаны с ее надеждами на счастливую жизнь с мужем, с разочарованием в замужестве и, конечно, с моим появлением на свет. И это я также представлял как свои воспоминания.

На свет я появился в мае 1918 года. Произошло это событие, не имевшее никакого общественного значения, в Плехановском переулке на харьковской окраине, в частном доме Кошелевых. Произведя несложные расчеты, можно определить, что главный катаклизм в российской истории произошел между моим зачатием и рождением. Россия в то время оказалась на исторической развилке. Перефразируя Гейне, который писал, что над его колыбелью играли последние лучи восемнадцатого и первая утренняя заря девятнадцатого столетия, я могу сказать, что был зачат во время, когда для России открылась возможность стать демократической, процветающей страной, а рожден в совершенно другой стране, небо которой надолго затянули мрачные тучи террора и беззакония и только сквозь редкие просветы пробивались благотворные лучи.

Не этим ли можно объяснить, что часть меня всегда тянулась к свободе, а другая мирилась с беззаконием? Грех было бы утверждать, что я это понял сразу. Понадобилось время, чтобы прозреть. Успокаивает лишь то, что прозрел я далеко не последним.

Итак, я родился в доме, принадлежавшем семье Кошелевых, интеллигентной семье среднего достатка. Осознано или интуитивно, Кошелевы строили свой дом, предвидя возможные стихийные и социальные бедствия. Дом каменной кладки за высоким забором с железными воротами выделялся среди деревянных построек и мазанок немощенной харьковской окраины. Пока я, ничего не подозревая, сучил ножками в колыбели, за забором бесчинствовали банды и сменялись власти: петлюровцев изгоняли красные, красных – белые, за белыми вновь пришли красные и обосновались надолго. Добротный дом Кошелевых защитил нашу семью от погромов и набегов мародеров. Обо всем этом я узнал много позже из рассказов мамы и школьных уроков истории. Но дом Кошелевых представлял себе не только по рассказам мамы. Когда я вырос и вновь оказался в районе Плехановки, я нашел их дом. Он был недалеко от школы, в которой я учился в начале 30-х годов. Дом был цел. Но в нем жили уже другие люди, и мне не удалось узнать ничего о судьбе семейства, предоставившего мне кров, под которым я прожил

первые три года своей жизни. Потом мои родители развелись. Мама уехала в Киев, где жила семья ее старшей сестры. С мамой уехал в Киев и я.

Мое наиболее яркое, отчетливое, собственное, а не вычитанное из книг воспоминание раннего детства относится ко времени, когда мне шел шестой год. Запомнился день, точнее, вечер того дня, когда стало известно, что умер Ленин. Все семейство отца, у которого я жил в то время, собралось в «большой» комнате у печки-буржуйки в скорбном молчании. Многолинейная керосиновая лампа, свисавшая с потолка на тяжелых медных цепях, была пригашена. От раскаленной буржуйки исходил жар и свет. Таков был запомнившийся антураж. Скорбь была неподдельной. Конечно, в то время я не мог бы выразить наше состояние словом «скорбь», но большое горе, охватившее отца и переданное им остальным, сохранилось во мне и по сию пору. Теперь я понимаю, чем было вызвано это состояние, скорбь того круга людей, к которому принадлежал отец. После всего пережитого за годы революции, Гражданской войны, погромов, разрухи и голода наступило некое подобие расцвета: вместо рублей с шестью нулями появился «золотой червонец», рынок был завален продуктами и товарами, совершенно недоступными еще два-три года назад. Открылась возможность реализации своей инициативы. И все это связывалось с Лениным, который ввел нэп. Смерть Ленина вызвала скорбь, перемешанную со страхом перед будущим. Терзало предчувствие перемен: не покончат ли с этим ленинские наследники? Позднее в стихах Пастернака я нашел чеканную формулировку той ситуации: «Предвестьем льгот приходит гений // И гнетом мстит за свой уход...»

Имя и судьба

*...Мой прадед истории светом
не разыскан и не осиян.
Из дворян? Из мещан? Из крестьян?
Догадаться можно примерно,
доказать же точно и верно,
сколько ни потрачу труда,
не смогу никогда.*

Борис Слуцкий

О своих предках я знаю очень немного, не далее чем до второго колена. Деда по материнской линии звали Абрам Литвак. Отчества его я не знаю. Значит, не знаю и имени его отца, моего прадеда. Хотелось бы знать. Но поздно спохватился, а сейчас узнать не у кого. А ведь знай я его имя, мое представление о предках увеличилось бы на одно колено. Я мог бы думать о нем как о живом, вообразить его себе. Мог наделить его некими чертами, преувеличивая достоинства и опуская недостатки. Я мог представить его веселым насмешником, у которого было припасено много древних притч на всякий жизненный случай, или сухим талмудистом, изрекавшим ветхозаветные истины к месту и не к месту. Но я не знал имени прадеда, я знал только имя деда. Ведь одно только его имя¹ говорит о многом. Абрам – Авраам имя библейское. Праотец. Глава семьи. Восходит его имя по прямой линии к потомкам Ноя. Такими именами не разбрасывались. Такое имя обязывало. Наделяя человека таким именем, от него ожидали порядочности, мужества, деловитости, мудрости. Такое имя человек должен был носить с достоинством.

Позже, когда я узнал о распространенном среди евреев представлении, поверье, будто Бог узнает еврея по его библейскому имени, что вызванный к чтению Торы еврей, наделенный библейским именем, обретает возможность общения с Богом, что Бог его при этом слышит, во мне созрела гипотеза о связи имени и судьбы. Гипотеза никак не повлияла на мое атеистическое сознание. Я отнес связь имени и судьбы к области народных легенд, притч – красивых легенд и красивых притч. Уже это одно привлекло меня. Конечно, на всем рассуждении был налет мистики, но меня это не смутило.

Я никогда деда не видел. Лишь с годами, особенно когда жизнь заставила задуматься над своим происхождением, дед Абрам поселился в моем воображении. Мне представилось, как я, сидя на его коленях, перебираю не успевшую поседеть бороду деда, как он улыбается, лаская меня, и слезы умиления заволакивают его глаза... Я чувствовал его теплую руку на темени, слышал его голос, дрожавший от счастья, когда он называл меня дитяткой и другими ласковыми именами. В общем, я рисовал себе идиллические картины. Сейчас я понимаю, что это вызвано было не только и не столько тем, что пришлось задуматься над своим еврейством. Не зная деда, я приписывал ему доброту, которой не обнаруживал у людей, окружавших меня в детстве. Я исподволь думал, что дед Абрам, если бы он реально существовал в моей жизни, мог восполнить недоданные, а если быть точным, вовсе не доставшиеся мне в детстве родительские любовь и тепло.

¹ В романе «Мешуга» Исаак Зингер так подчеркивает значение, которое евреи придают имени человека: «В семье (героя романа) родился братик. Его назвали Барух Давид. За несколько лет до его рождения родители потеряли двойняшек – мальчика и девочку. Когда родился Барух, отец поехал к раввину. Раввин посоветовал добавить к имени новорожденного еще три имени – Хаим (чтобы он мог жить), Алтер (чтобы мог достичь старости) и Бен-Цион (чтобы мог защититься от дьявола).

Так я думал о своем деде Абраме. Таким он казался моему воображению. Кое-что я успел о нем узнать кроме его имени.

Во время погрома в Белой Церкви под Киевом на глазах жены и младшей дочери петлюровцы зверски убили Абрама Литвака – совсем не старого набожного еврея. Ему могло быть не более пятидесяти лет. По роду занятий дед был коммивояжером, торговым представителем, как сказали бы сейчас – дилером. В окружавших Белую Церковь селах и местечках он представлял всемирно известную фирму швейных машинок «Зингер». Его фотографий не сохранилось. Из рассказов мамы и ее школьной подруги, из того, что узнал от тетюшек, я мог лишь представить себе деда крепким человеком с бородой и пейсами, в неизменной жилетке, изпод которой свисали бахромой белые узелки. Люди, знавшие деда, говорили и о неких его индивидуальных чертах – исключительной деловой порядочности и мудрости, как я понимаю, на бытовом уровне. Из обрывков сведений, доходивших до меня от мамы и ее подруги, я соткал его портрет, менявшийся в моем воображении по мере обретения новых данных о нем. Когда мама вспомнила, что за ним была слава местного «царя Соломона», третейского судьи, я пририсовал к портрету очки в роговой оправе. Посадил деда за стол, застланный зеленым сукном. На столе только его узловатые руки, как на портрете Ивана Павлова кисти Нестерова. В моем воображении к столу деда тянулась очередь спорщиков и он, пользуясь исключительно прецедентным правом, извлекал из памяти аналогичные случаи, известные ему со времен учебы в хедере. Очередь редела, спорщики расходились. Мама вспоминала, что дедушка не был чужд политики, регулярно выписывал киевскую газету. И я видел деда, активно обсуждавшим новости в кругу своих сверстников. Я был бы огорчен, если бы дедушка оказался из тех пустомелей, которых в более поздние времена называли «белыми пикейными жилетами». Его традиционный еврейский консерватизм жаждал стабильности («только бы не было погромов»), но не был чужд и неких либеральных идей. Для себя я определил его мировоззрение как «консерватизм либерального толка», что оправдывает мой собственный либерализм наследственностью.

Дед усердно посещал синагогу и честно зарабатывал свой нелегкий хлеб службой заморской фирме. Однажды, вспоминая деда, я спросил маму, как дед относился к сионистской идее. Это было в семидесятые годы, когда после запрета выезда евреев вдруг шлюзы открылись. Мама вспомнила, что идея ему была близка, но сам он не собирался уезжать, считал, что ему уже поздно. Но молодым советовал и состоял в каком-то обществе, поддерживавшем выезд материально.

Когда в наше время я иногда вижу на дверях фирм или в витринах магазинов объявления типа «Торговых агентов просим не беспокоить», я думаю о деде Абраме, о его нелегком, а подчас и унижительном труде.

Не нужно было никаких свидетельств очевидцев, чтобы представить патриархальный уклад семьи, жившей в черте оседлости.

Мне виделось, как с рассветом он встает, набрасывает на себя талес, накручивает тфилин и тихо, не нарушая сна дочерей, почти про себя, произносит слова молитвы. На столе его ждет накрытый белой салфеткой завтрак. Сняв тфилин и позавтракав, он выходит во двор, запрягает свою двуколку, водружает на нее тяжелый образец машины «Зингер» и отправляется в очередной вояж. На крыльце появляется бабушка. Она только проснулась. «Абрам, – говорит она по-еврейски. – Будь осторожен, Абрам». И идет открыть ворота, пропуская вперед двуколку. Закрывая за дедом ворота, она шепчет: «Мазлтов». В переводе это значит: «Счастья тебе». Интуиция подсказывает мне, что «мазлтов» по сути нечто большее, чем пожелание счастья. Во всяком случае, речь идет не только о сиюминутном счастье, не только о счастливом исходе предпринятой поездки. Мазлтов – это обращение к небу, это мольба, чтобы звезды счастливо сошлись на всю жизнь. Дедушка уже не слышит напутствия. Не оборачиваясь, он начинает свой ежедневный деловой вояж. Объезжая один за другим дома, где по разным причинам – по бедности или по невежеству – его даже не желают выслушать, где нередко мальчишки напоминают

ему о его «жидивстве», он терпеливо плетется от дома к дому, пока любопытство или недостаток очередного хозяина не позволят ему остановиться и рассказать о чуде, творимом предлагаемой им машиной. Собираются соседи, подходят зеваки, дедушка показывает, как происходит чудо ровного и непрерывного шва, какие сложные узоры можно вышивать, пользуясь приспособлениями, прилагаемыми к машине. Неутомимый рассказчик, он доказывает преимущества строчного шва перед ручным, безотказность и простоту работы, наконец, возможность срочки платежа. Думаю, что дед был по-своему красноречив, если ему удавалось убедить недоверчивых крестьян в том, что машина надежно прослужит нескольким поколениям семьи.

Наконец кто-то рискует заключить контракт. Удача! Я вижу, как радуется дед. Но он рад не только небольшому заработку. Он знает, что в следующий его приезд «слава чуда-машины» разоидется по селу и охотников купить будет больше. Так он приобщает людей к новой технике, облегчает домашний труд женщин. И так изо дня в день.

По меркам того времени жизнь деда представляется мне счастливой, насколько вообще мог быть счастлив на земле человек. Он не был одинок, у него был дом, три красивые дочери (об их внешности я пишу не понаслышке), не могло быть проблем с их замужеством (две старшие были замужем, младшая была помолвлена), он служил, в доме был достаток, его уважали в общине. При его здоровье он мог бы еще жить и жить, как принято говорить у евреев, до ста двадцати лет. И мирно почить среди любивших его близких, в окружении внуков и правнуков. По Геродоту – это и было бы счастьем.

Но вот происходит нечто противоестественное всему человеческому – его зверски убивают. И счастье перечеркивается одним взмахом петлюровской пашки. «Счастлив не тот, кто при жизни обладает многими благами, но тот, кто счастливо окончит свой жизненный путь», – говорит Геродот, рассказывая об участи, постигшей лидийского царя Креза. Взгляд древнего историка не бесспорен. Но если согласиться с ним, то нам, пережившим XX век, трудно назвать этот век иначе чем – проклятый. Не так ли бесчинства бандитов, красный террор, сталинские репрессии, войны, Холокост в одночасье обрывали скромное счастье миллионов невинных людей, вырывая из привычных и дорогих их сердцу условий жизни, отрывая от детей, от любимых жен, от дорогого дела? Все прошлое перечеркивалось тревожным ночным звонком, трагический конец возвещал, что никакого счастья не было.

Но лежащий на полу и истекающий кровью дед Абрам не думает о веке. Большие беды мира были еще впереди. Он даже не может их себе представить. Трагедия века ограничивается для него местным погромом. Мысль о судьбе младшей дочери занимает его угасающее сознание. Помолвка ее, думает он, слава богу, дело решенное, но кто поведет его Лизочку к венцу? Сквозь пелену, заволакивающую его глаза, он успеваеет увидеть венчание, счастливую улыбку дочери, его любимой Лизхен... Миг, и картина уходит в туманную даль. Затихает боль. Погром и все, что произошло с ним, видится ему концом света.

Мою бабушку, жену дедушки Абрама, звали Дебора. В семье ее звали просто Доба. Дебора – тоже библейское имя, впервые упоминаемое в Книге Судей. Библейская Дебора – предсказательница, воительница. Предание гласит, что она возглавила древнееврейские племена, завоевавшие Палестину. Дебора сочинила победную песню, ставшую одним из древнейших текстов еврейского эпоса.

Я знал бабушку с детства. О ней у меня сложилось определенное представление. Ничего общего с чертами библейской Деборы в ней не было. Увы, в данном случае мое предположение о связи имени и характера потерпело крах.

Позже я пытался приложить гипотезу к себе. Меня родители тоже называли библейским именем. Петр в переводе означает камень. Имя, предполагающее твердость характера. На военной службе, которой я отдал более сорока лет жизни, и особенно на войне мне не раз приходилось проявлять это качество. Но в первый раз, когда мне действительно следовало проявить

твердость, я спасовал. Дело было в 42-м году под Мценском. Бронепоезд, которым я командовал, подвергся атаке нескольких пикирующих бомбардировщиков Ю-87. Мы, привязанные к железнодорожному полотну, были открытой мишенью. Наша авиация, как шутили в то время, еще не прилетела. Решил оставаться на месте, замереть, дать возможность противнику прицелиться в неподвижную цель, и только когда самолеты начнут выходить на боевой курс, с места набрать скорость и рвануться вперед. Надежда была на исполнительность машиниста и верность зенитчиков. В машинисте и машине я не сомневался, а в командире зенитчиков ошибся. Лейтенант Лисенков, командир зенитного подразделения, когда он больше всего был нужен, покинул бронепоезд. Кричу, стреляю вдогонку из пистолета – Лисенков продолжает уходить к лесу.

Когда самолеты начали разворачиваться и появились первые признаки перехода в пике, команду: «Полный вперед». Поезд дрогнул и с места набрал скорость. Расчет в целом оказался верным. Из всей смертоносной серии лишь две бомбы достигли цели – одна в бронеплощадку, другая в угольную яму тендера, разбросав весь уголь. Поезд окутала черная туча. Противнику удалось пушечным огнем изрешетить тендер. Стала быстро уходить вода. В любую минуту перегретый котел мог загасить топку паровоза. Получив разрешение, мы вышли из боя и двинулись на север. В Скуратове сразу пошли под воду. И тут мне попался на глаза Лисенков. Успел, трус, после всего, что произошло, вскочить на платформу и, как ни в чем не бывало, смешаться со всей командой. Как же я с ним поступил? Поощаил труса. Его ждал в лучшем случае штрафбат. Но я смолчал. Позже я простил себе свою слабость: Лисенков все понял, оценил и показал себя отважным зенитчиком. А поводы струсить у него были не раз.

И всё же этот случай не поколебал моего отношения к высказанной гипотезе.

Но вернусь к рассказу о бабушке Деборе. В ней не было ни чего-то героического, ни способности предвидения, ни тяги к сочинительству. Разве что только властность, ограниченная семьей, стенами ее дома... По-видимому, ей дали имя библейской героини лишь в надежде на то, что она его оправдает. Дебора была высокая, худая и довольно желчная старуха. Мне кажется, что она мало радости вносила в жизнь деда Абрама. Уж больно она была угрюма и не улыбочива. Но, может быть, я несправедлив, может быть, она не всегда была такой, может быть, до гибели мужа она была доброй, веселой и жизнерадостной женой и ее так изменила разыгравшаяся при ней трагедия?

Отношение к ней сформировалось во мне после одного случая. В начале 30-х годов мама была еще молода и не теряла надежды на вторичное замужество. Бабушка взяла это дело в свои властные руки. Искала вдовцов и старых холостяков. Чаще находила проходимцев, притворявшихся порядочными. Периодически происходило сватовство. Считалось, что я ничего об этом не знаю, – обычное заблуждение взрослых относительно детской ненаблюдательности. Меня действительно трудно было заподозрить в осведомленности: после развода родителей я жил у отца, а «события» происходили в доме младшей сестры Лизы, у которой жила мама. Все таинственные шушуканья, которые я хорошо понимал, казались мне странными и лишними, в мамином замужестве я не видел для себя никакой опасности. Однажды после школы я шел к маме и увидел в окне ее и рядом какого-то немолодого мужчину. Не успел я дойти до крыльца, как навстречу мне вышла бабушка и быстро отвадила меня, сказав, что мамы нет дома. Велела прийти завтра. Мне было обидно: я был обманут и к тому же голоден. Тогда до меня дошло, что не сватовство скрывали от меня, а меня от сватовства – бездетная вдова предпочтительнее женщины с ребенком. Этого обмана я никогда не мог простить Добе. Маму я не винил, понимая ее полную зависимость от властной старухи, руководившей сватовством и стремившейся избавить свою младшую любимую дочь от приживалки, какой оказалась моя мать.

В конце концов Доба своего добила, выдав маму за пожилого человека, старого холостяка, прозванного моими друзьями за скучный вид и раскосость глаз китайцем. Он постоянно

выглядел человеком, готовым расплакаться, даже когда смеялся. С узкого желобка его нижней губы вечно свисала ниточка слюны. В общем, он выглядел не только скучным, но и беспомощным. Китаец кустарничал. Он был подпольным изготовителем всяких леденцов на палочке – рыбок, петушков, зайчиков. Патента у него не было. От финансовых органов он тщательно скрывал свою деятельность. Тяжелые формы, в которых отливались изделия, содержались в далеких уголках под кроватью. Мама была помощницей в производстве. Они прожили вместе более тридцати лет до его смерти. Был ли я скрыт от него в начале сватовства или мое несуществование было условием брачного союза – не знаю. С ними я никогда не жил. Но отношения с отчимом, особенно в войну – благодаря моему фронтовому денежному аттестату, – легализовались, а в дальнейшем, после рождения дочери, были вполне сносными, хотя и без проявления теплых чувств с моей стороны.

Две судьбы, два характера. Два имени – Авраам и Дебора... Имена принадлежат истории народа, характеры – семейной истории.

Две Нины

Человек, за которого бабушке Добе удалось выдать маму, мой отчим, происходил из большой, весьма достойной семьи. Как старший из четырех братьев, он рано стал работать, чтобы поддержать учебу младших братьев. Они, по-видимому, не без его помощи, преуспели в жизни. Один стал юристом, преуспевающим адвокатом, другой – известным скрипачом (первая скрипка в знаменитом до войны квартете Вильома), третий, тоже музыкально одаренный, стал инженером и занимал довольно крупные посты в промышленности. Последний его пост – главный инженер ленинградского «Красного треугольника». С этого поста третий из братьев попал в 1937 году под каток репрессий и был расстрелян, так что его трудно отнести к разряду преуспевших в жизни (несмотря на посмертную реабилитацию). Сам отчим остался недоучкой.

Воспоминания о семье отчима вызывают в памяти двух Нин – Нину Николаевну Старосельскую, жену ленинградского брата моего отчима, и Нину Алексеевну Носкович – ее подруги по совместной отсидке в лагере для жен врагов народа. Обе Нины и еще несколько их сокамерниц после освобождения скорее в шутку, чем в целях конспирации, называли себя сопляжницами.

В 1937 году меня потрясла судьба молодой, яркой красоты женщины, приехавшей из Ленинграда к харьковским родственникам моего отчима, чтобы оставить им свою маленькую дочку. После того как был арестован ее муж, кто-то из бывавших в их гостеприимном доме доброжелателей, служивший в органах, посоветовал ей срочно уехать из Ленинграда и надежно пристроить ребенка. Нина Николаевна выбрала Харьков. Она была первой увиденной мной жертвой начавшего разрастаться террора. Не знаю, что больше подействовало на меня – ее прекрасная внешность или предчувствие ее горькой судьбы, но я влюбился. Это было чувство платоническое, односторонняя любовь на значительном расстоянии. Скорее даже не любовь, а поклонение красоте. Не остался к ней равнодушным и Миша Кульчицкий, друг моей юности.

Судьба этой прелестной женщины сложилась трагично. Когда через несколько месяцев после ареста мужа она возвратилась в Ленинград, чтобы оплатить квартиру, управдом попросил ее предъявить паспорт. Спрятав документ в ящик стола, он по телефону известил «компетентные органы» о ее появлении в Ленинграде. Таковы были нравы «эпохи сверхбдительности и тотального доносительства». (Хотя, вспомним, нашелся все же чекист, не побоявшийся предупредить бедную женщину и тем спасший ее ребенка). Она тут же была арестована. Как «член семьи изменника родины» она провела в тюрьмах, лагерях и ссылке почти десять лет.

В ссылке в Средней Азии Нина Николаевна вышла замуж за Энвера Александровича, крымского татарина, фронтовика, лишённого права после войны вернуться в Крым. Только в 1956 году Нина Николаевна и Энвер Александрович получили разрешение проживать в Ленинграде.

Со второй Ниной – художником Ниной Алексеевной Носкович – нас познакомила Нина Николаевна. Жизнь двух Нин была полна трагических страниц, обе были арестованы в 1937 году. В тюрьме и познакомились. Нина Николаевна попала в камеру первой. Ее рассказ о встрече в тюрьме будущей «сопляжницы» потрясает деталями, характеризующими то кошмарное время. «Поздно ночью, – рассказывала Нина Николаевна, – с грохотом открылась дверь камеры. В дверном проеме стояла улыбающаяся изящная женщина в легком белом платье и белых туфельках на высоких каблуках. Нам показалось, что прилетел светлый ангел. Мы не удивились ни ее бальному наряду, ни позднему появлению в тюрьме. Для многих из нас начало мытарств было таким же. Вертухаи не разрешали переодеться, заехать домой за вещами, проститься с близкими».

Вышла замуж после освобождения и Нина Алексеевна. Ее муж Виктор Семенович Носкович, военный летчик, чудом оставшийся в живых после тяжелого ранения, многие месяцы

провел на госпитальной койке между жизнью и смертью и вышел из всех передряг с искаленной ногой. Искусствовед и художник, он продолжил свою работу.

С открытыми, гостеприимными домами двух Нин связано немало незабываемых дней нашей жизни в Ленинграде. Все пережитое в недавнем прошлом не ожесточило и не озлобило их. Их жизнелюбие, веселый и ровный характер, дружественное и теплое отношение к близким, к друзьям проявлялось не только в жизни, но и в творчестве.

Родители

Родители мои, в основном каждый порознь, прожили долгую жизнь.

Мама, Софья Абрамовна, в девичестве Литвак, родилась в 1894 году и прожила почти 94 года. В 1917 году она вышла замуж за моего отца, в то время вдовца, потерявшего до этого вторую жену. На его руках оставалось двое детей: Володе и Ревекке было тогда 7 и 5 лет. Брак моих родителей был изначально обречен. Может быть, отец и примирился бы с тем, что привел в дом к своим детям женщину со всеми классическими приметам злостной мачехи, – он не очень заботился о детях. Но мать определенно не могла примириться с деспотизмом и скупостью отца. Они расстались, не прожив и полных четырех лет.

Мама была третьей женой отца. Первая его жена, не выдержав отцовского характера, забрала дочку и возвратилась в свое родное гнездо в Лубны. Она была молода, красива и на что-то надеялась. Надеждам ее не суждено было сбыться, она осталась только матерью. После ухода моей мамы отец женился в четвертый раз. Его последняя жена Ида Соломоновна, в девичестве Авербах, оказалась женщиной с характером. (От нее я узнал, как относилась моя мама к Володе и Ревекке. Хотя тут, по определению, неизбежны были преувеличения. Во всяком случае, сама Ида Соломоновна была мачехой не без недостатков). Она оказалась способной противостоять деспотизму отца. У них родился сын. Последний брак отца продержался до самой его смерти. В нелегкой борьбе с деспотизмом и скупостью отца за сохранение семьи Иду Соломоновну поддерживала фанатичная любовь к сыну, ради которого она способна была на любые жертвы. В столкновении двух жестких характеров жертвовать вынуждены были все – и отец, и дети. Отцу она устраивала дикие сцены, вынося ссоры на люди, к вящему удовольствию соседей. Помню, как она ударила себя поленом по плечу до появления синяка и выбегала простоволосая во двор, крича что «он» ее убивает. Подобными приемами она добивалась своего. Но справедливость требует признать, что самую большую жертву принесла она сама – свою молодость и привычный уклад жизни в семье, из которой была выдана замуж. Она принадлежала к семье интеллигентной. Один из ее дядьев был известный изобретатель, другой – крупный инженер-электрик (он погиб при строительстве московского метро), были в семье и музыканты, а всемирно известный шахматист гроссмейстер Ю. Авербах приходился ей племянником. В замужестве она столкнулась с миром мелкого предпринимательства, бытовой неустроенностью, постоянной тревогой за будущее.

Отец мой, Залман Зусевич Горелик, родился в 1879 году и прожил до 1964 года. Я помню его постоянно озабоченным поисками области приложения своих рук для извлечения прибыли и в состоянии перманентного страха перед бедностью. По натуре он был человеком деятельным. Наступившие перемены 20-х годов, нэп подвигли его заняться практической химией, а непреодоленный груз черты оседлости тянул к мелкому предпринимательству. Для реализации своих «химических» замыслов у него не было ни образования, ни практики. Но, несомненно, были хватка и некоторое чутье. Желание заработать на черный день постоянно толкало отца на всевозможные экономические подвиги, а иногда и на авантюры. Ему казалось, что он чутко улавливает быстро меняющуюся конъюнктуру рынка, и нередко чутье его не обманывало. Стремясь раньше других удовлетворить неожиданно возросший спрос на оловянные пуговицы или конторский клей, он быстро постигал немудреные секреты технологии и развертывал очередное «дело», очередной «гешефт».

Небольшой темный подвал под квартирой, в которой мы жили, видел многое. Варка мыла сменялась изготовлением чернил, чернила сменял клей (изготовление клея воскрешает в памяти одного из персонажей гоголевских «Мертвых душ», предприимчивого Костанжогло, который варил клей из рыбьей шелухи «да сорок тысяч и взял»), за пуговицами из олова налаживалось производство эбонитовых пуговиц из старых грампластинок. В этом же

мрачном, но слегка подбеленном помещении изготавливалось «вологодское» сливочное масло и знаменитые в Харькове треугольные вафли, скрепленные помадкой, весьма отдаленно напоминавшей шоколадную. Эти вафли почему-то называли «микадо». Я перечислил те из замыслов, что были реализованы. А сколько было таких, что не удались! Отцу далеко не всегда выпал успех.

Неудачи тяжело ударили по семье. Жизнь семьи была отравлена повседневной мелочностью, постоянными запретами. Детям не давали читать, лишали кино, о театре нечего было и мечтать, учеба не запрещалась, но и не поощрялась. Единственное, что удерживало отца от категорического запрета, был страх перед органами образования и вообще перед властью. (Документ с печатью и штампом мог парализовать его волю.) Отец считал, что дети должны помогать ему в его кустарном промысле с утра до вечера. Такова была традиция семейных кустарных промыслов, и не только в еврейских семьях. Но традиция не учитывала перемен. Саша, младший сын, был избавлен от этого по малолетству, а затем и усилиями матери. Мы со старшим братом и сестрой были обречены на труд в подвале. Нам выпала судьба жертв традиции. Ранние побудки ударом ноги с криком: «Вставай, разбойник!» (по-еврейски это звучало более грубо: «Штей уф, ганеф»), частые недоедания и нередкие подзатыльники остались в памяти навсегда.

Самым трудным и не всегда приносившим успех «гешефтом» было мыловарение – вершина отцовского химического практицизма. В подвале была нехитрая печь, в которую был вмазан стоведерный котел. Котел нужно было наполнить водой, к печи принести дрова. Это возлагалось на Володю и на меня. Воду приносили из колонки, расположенной во дворе довольно далеко от подвала. Отец закладывал в котел каустическую соду, жир павших животных, который он привозил с живодерни, и еще какие-то компоненты. Всего я не помню. В памяти остался только отвратительный едкий запах этого месива. Пока мыло варилось, мы были свободны. Отец следил за печью, чтобы варка не выбежала, и священнодействовал возле котла, что-то добавляя и пробуя готовность варки поднятым кверху пальцем, на котором остывала взятая из котла проба. В эти минуты лицо его светилось надеждой и вдохновением. После наступала наша очередь: большими черпаками мы сливали горячую массу в разборные формы, в которых мыло остывало. На следующий день стенки форм откидывались, и если содержимое не текло и сохраняло вид куба, мы нарежали мыло на куски. Затем уже небольшие куски закладывали в металлические формы-штампы и ударом по крышке формы наносили «товарный знак». Высшим сортом отцовского производства было «мраморное» мыло – желтоватое с синими прожилками. Бывало, что мыло текло. Это было равносильно катастрофе.

Другие задумки были легче и надежней в изготовлении, но требовали не меньше времени. Иногда мне помогали мои школьные друзья. Об этом напомнил автограф Бориса Слуцкого на одной из его подаренных мне книг: «Пете от ассистента на микадной машине. Борис Слуцкий».

В юности и много позже я видел в отношении к нам, детям, только отцовский деспотизм, видел, что по его вине мои старшие брат и сестра остались недоучками, без профессии. Живя то с матерью, то в большой семье отца, я не знал тепла родительской любви и не впитал чувства родства и семейной сплоченности. В одном месте я чувствовал себя помехой личной жизни, в другом – лишним ртом, но отнюдь не лишними рабочими руками. Я рано понял, что моя судьба находится в моих руках. Забегая далеко вперед в своем рассказе, скажу, что в пятнадцать лет я сам разрубил этот узел – стал жить самостоятельно: снял угол, отдался по-настоящему учебе. Жил я на небольшое пособие, которое мне выхлопотала школа, кое-что подрабатывал уроками и рисованием плакатов к праздникам, немного пользуясь помощью матери. Свой первый рубль я заработал за транспарант «Выполним Пятилетку в четыре года!».

Сейчас я вижу в отце не только деспота. Время частично стерло детали, и я должен признать, что отец был труженик. Торгашеская спекулятивная жилка, присущая многим предста-

вителям той среды, из которой он вышел, была не только не единственной, но и не главной чертой его характера. Он добывал свой хлеб своими руками и никогда не пользовался наемным трудом, использование же труда детей в семейном подраде, как я уже писал, – вещь традиционная. Будучи человеком малообразованным, отец сумел найти себя в практической сфере и, несмотря на периодически постигавшие его неудачи, не сдаться и содержать большую семью.

Отец получил еврейское религиозное образование. Синагогу посещал нерегулярно. Его набожность носила внешний характер. И при этом он был нештатным (если это понятие применимо в данном случае) кантором – синагогальным певцом-солистом. У него был хороший сильный голос, и его приглашали петь в синагогах ближайших к Харькову местечек. Эти «гастроли» оплачивались. Дома он молился редко. В семье отмечали еврейские праздники, но шабаты² не соблюдались. Так что набожность отца была неглубокой.

Из праздников запомнилась Пасха. Предпасхальная подготовка была уделом женщин. Поскольку отдельного пасхального комплекта посуды не было, всю кухонную и столовую посуду выносили во двор к водопроводной колонке. Здесь собирались еврейские женщины со всего двора, разговоры и работа продолжались до темноты. Посуду мыли мылом, оттирали песком и толченым кирпичом – избавляли от впитавшегося «хамеца» – кислого хлеба. Чистую, блестящую, теперь уже «кошерную» посуду вносили в дом после тщательной уборки квартиры, вычищали все, что могло сохранить следы кислого теста, хлеба. Мацу приносили из синагоги в большой наволочке, чтобы хватило на все восемь праздничных дней. Отец приносил из синагоги пасхальное вино «пейсаховку», а с базара – крупных лещей и много всякой зелени. Готовили фаршированную рыбу – непременный атрибут пасхального стола. С детства запомнились лакомства из мацы. Для их приготовления мацу пропускали через мясорубку, превращая в муку, а из этой муки скатывали небольшие шарики, которые варили в меду. Лакомство называлось тейглах. Смысл и религиозная сущность праздника не остались в памяти, так же как и ритуальные особенности. Обо всем этом я узнал много позже из литературы, тогда все это не могло пересилить во мне моего пионерства. Тейглах запомнились, а ритуалы – нет.

Впрочем, один все же запомнился: *седер* – первый предпасхальный вечер, когда открывают дверь, чтобы в квартиру вошел Илья-пророк, и когда отец, сидящий во главе стола почти как Саваоф, задает детям вопросы – *кашес*. Мы должны были давать на них канонические ответы. За ошибку можно было схлопотать подзатыльник. Не из этой ли традиции родился в 30-е годы анекдот: «Отец задает на седере сыну вопрос: “Можно ли построить социализм в одной стране?” Сын отвечает: “Социализм в одной стране построить можно, но жить в такой стране нельзя”». Подобный ответ в то время попахивал не подзатыльником, а мог стоить жизни.

Набожность отца, как я уже говорил, была неглубокой, больше показной. Посещения синагоги и редкие предсубботные вечера – шабаты – были поводом сбросить с себя затрапезу и облачиться в выходную тройку с белой сорочкой и непременным галстуком. В рабочие дни отец был одет неряшливо, выглядел уставшим, был небрит. От усталости с вечера мгновенно засыпал на засаленной кушетке и, не раздеваясь, спал до утра. Просыпался рано и в жеваной после ночи одежде отправлялся на базар. Продукты для дома всегда покупал сам и был горд, когда ему удавалось что-то схватить по дешевке (по-еврейски это звучало «гехапт а мицье»). Обычно купленное по дешевке было отвратительного качества – прогорклое масло, протухшие яйца, залежалая мука. Кур приносил обязательно живых, держа их за ноги головами вниз. Потом я или Володя отправлялись к резнику при синагоге, чтобы умертвить их.

² Шабат – суббота, последний день недели еврейского календаря, день, свободный от работ. Происхождение шабата еврейская религия связывает с сотворением мира и десятью заповедями. Основательная подготовка, предшествующая наступлению субботы, позволяет в шабат не производить ни одной из 39 запрещенных работ. Считается, что «больше, чем евреи хранили субботу, суббота хранила евреев».

Переодеваясь в выходную тройку, отец преображался в красивого мужчину. Куда-то девалась сутулость, он становился стройным. Лицо его украшали маленькие усы и бородка-эспаньолка. Из жилетного карманчика свешивалась золотая цепочка. Показную набожность он сочетал с подлинной любовью к картам. Играл обычно с соседями, в беседке во дворе, оставаясь в своей затрапезе. В непогоду и зимой облачался в костюм и уходил надолго в одну и ту же компанию игроков и собутыльников. Выпивали, по-видимому, очень умеренно, пьяным я отца не помню, но под хмельком возвращался постоянно и сразу же, часто не раздеваясь, засыпал.

В семье отца я появился, когда кончался нэп. Отца тогда одолевали мрачные предчувствия. Мои комсомольские восторги по поводу успехов первой пятилетки он встречал презрительной ухмылкой. Он как бы говорил: «Посмотрим, что из этого получится». К власти и наступившим порядкам относился с недоверием. Удивительно, но ему очень долго, до старости, удалось оставаться при своем деле, то кустарем-одиночкой, то кооперированным кустарем. С кем он кооперировался, оставалось загадкой, но была возможность легализовать частную деятельность, и он ею пользовался, во всяком случае, «на них» он не работал. Как ему удавалось ладить с налоговиками, я не знал, но не помню, чтобы по этой части у него были неприятности. Репрессий он избежал, если не считать того, что ему пришлось провести несколько недель в подвале НКВД. К слухам, что «берут» ювелиров, зубных техников и бывших нэпманов в надежде выкачать из них золотишко, он отнесся легкомысленно. О кустарях в начале «восстановления социалистической законности» не говорили; «допровской корзинки» («Допр» – дом предварительного заключения) он не приготовил. И напрасно. Передач не принимали. Пришлось ему, бедняге, страдать в сыром подвале от обилия соленой пищи и недостатка воды. Таков был способ воздействия на тех, кто упорно не хотел поделиться и пожертвовать на строительство социализма: кормили селедкой не слабой соли и не давали воды. Отец вообще не любил расставаться с деньгами, даже в обмен на необходимое, а тут надо было отдать, ничего не получая взамен. В конце концов его выпустили. Не знаю, отдал ли он свое или что-то приобрели на стороне и он отдал, сделав вид, что «вспомнил» о своих сбережениях (такое нередко практиковали). В его рассказах о днях, проведенных в сыром подвале, лейтмотивом была здравая мысль, что лучше было бы потратить ценности в Торгсине³. Именно в то время появился знаменитый анекдот о Саррочке, утверждавшей, что «если нет денег, нечего затевать строительство социализма».

³ Торгсин – система магазинов, в которых торговали импортными товарами в обмен на золото или другие драгоценные металлы.

Врачи в моей жизни и судьбе

Из детства запомнился один врач. Человек маленького роста, щупленький, с чеховской бородкой и, как помнится, в пенсне. Фамилия его была Кандыба. Жил он неподалеку, в Аптекарском переулке, и считался семейным врачом. Хотя это ко мне и моим сводным старшим брату и сестре отношения не имело. Его приглашали, только когда заболел младший, Саша. На лечение Саши его мать, наша мачеха, денег не жалела. Скуповатому отцу, к тому же не верившему в медицину, приходилось мириться с такой, как ему казалось, бессмысленной тратой.

Кандыба приходил по вызову, мыл руки, степенно раскрывал традиционный саквояжик и на салфетке раскладывал немудреный набор инструментов – деревянную трубку, никелированную железку, похожую на стамеску без ручки, пинцет и какие-то щипчики, назначения которых я много лет не понимал. Все делалось молча и походило на священнодействие. Потом шел к больному мальчику. Всякий раз, независимо от того вызывали ли его по поводу ушиба ноги или несварения желудка, Кандыба начинал с осмотра горла. «Ну-с, молодой человек, – говорил он обращаясь к четырехлетнему Саше, – повернитесь к окну и откройте ротик». Может быть, старый доктор предвидел будущее Саши, ставшего с годами известным солистом московской оперетты, Народным артистом России.

Всякий раз после осмотра Саши, если я оказывался неподалеку, Кандыба удерживал меня легким движением руки и справлялся о моем самочувствии: «А вы, юноша (я был на пять лет старше Саши и до юноши не дотягивал), как ваше горлышко?» На ходу ощупывая мои желёзки, он смотрел на мачеху с упреком. В его взгляде читалось: «Не волнуйтесь, мадам, за это я с вас денег не возьму». Мои желёзки, по-видимому, не вызывали тревоги старого доктора. Бросая победный взгляд в сторону мачехи, старый доктор гладил меня по голове и, хитро подмигивая, уходил. Вспоминаю Кандыбу скорее не как врача, а как человека с добрым сердцем. Впрочем, настоящий врач и есть человек с добрым сердцем.

Я рос, как будяк⁴ на забытом огороде, без удобрений, без ухода, поливаемый дождями. Врачей я не знал. Разве что в школе не уклонялся от обязательных прививок. Был как все. И ничего, вырос.

Потом была армия и война. Не привыкшему к врачам с детства, мне казалось, что в армии врачей было чересчур. Пуля меня миновала. Врачей не избегал, но и не обращался. Мой военный опыт подтверждал ходячую байку, будто на войне люди не болели, все переносили на нервах. Помню, осенью 42-го года, на ноябрьские праздники, к нам под Мценск приехали шефы из Коломны, с паровозного завода, где строили наш бронепоезд. Красивые девчата, подарки – вышитые кисеты, махорка, папиросы. Выпивка, закуска. Песни, танцы в тесной горнице чудом уцелевшей хаты. По молодости и с непривычки я так упился, что, стесняясь показаться неумехой в выпивке, вышел из хаты. Все-таки я был командир. Дождь лил, как во времена Ноя. Я сделал несколько шагов, споткнулся и упал в картофельную борозду. Таким удобным показалось мне это ложе, что я заснул в борозде и до самого утра проспал под проливным холодным ноябрьским дождем. И ничего. Вот уж поистине как с гуся вода. Не до болезней было.

Пока шла война, не знал ни простуд, ни других хворей. Потом повылезли всякие болячки.

С войны привез жестокую язву желудка. Худел. Гимнастерка висела на мне, как на скелете. Пропал аппетит. Боли доводили до отчаяния. Врачи академической санчасти (после войны я был слушателем Военной академии имени Фрунзе) не помогали. Кто-то из знакомых посоветовал обратиться к профессору Саркизову-Серазини, труднодоступному кремлевскому

⁴ Будяк – сорняк (укр.)

консультанту, известному специалисту в области спортивной медицины. Как он мог помочь при язве желудка я не понимал. Но меня убедили, и я пошел.

Профессор принял меня дома. Богатый кабинет. Картины. Кожаная мебель. Обстановка внушала... Профессор некоторое время пристально смотрел на меня. Видимо, мой вид сказал ему больше, чем рентгеновские снимки, которые я принес с собой. Неожиданно он выдвинул ящик стола и глазами показал на кипу крупных купюр заполнявших ящик.

– Товарищ майор, сейчас и ваша купюра попадет в эту кучу. Но я денег зря не беру. Если вы не сможете бросить курить, я не смогу ничем вам помочь. Выбирайте: курение или здоровье.

Я выбрал здоровье, тут же достал алюминиевый портсигар, подаренный еще в 42-м году умельцами бронепоезда, сгреб «беломорины» и бросил в корзину для бумаг. Профессор прописал мне какие-то отвратительные порошки, пахнувшие хлороформом, и вскоре язва оставила меня.

Позже, уже в чине полковника, меня догнала другая противная болезнь – полипозный пансинусит. Возможно, сказала давняя холодная ночь, проведенная в картофельной борозде.

Болезнь привела меня в операционную Военно-медицинской академии. Оперировал меня известный профессор Х., возглавлявший лор-клинику. Профессор как профессор, ничем не запомнился, кроме как тем, что все осталось так же, как и до операции. Но запомнился другой, значительно более известный профессор, Воячек. Это был человек из XIX века, один из основателей клиники и чуть ли не российской отоларингологии. В то время, когда я лежал в ожидании операции, ему было около ста лет. Каждый день утром он приходил в клинику, как на службу. Хотя давно уже был не у дел и числился кем-то почетным. После его смерти клинике присвоили его имя. В то время, о котором я вспоминаю, столетний Воячек выглядел тенью бывшего знаменитого хирурга. По коридорам и смотровым кабинетам Воячек ходил, с трудом передвигая ноги. По лестницам его водили под руку молодые ассистентки или сестры. К больным он отношения не имел, даже никого не консультировал. Терзал он врачей, и это рикошетом отзывалось на пациентах. Странник шадящих методов, Воячек не доверял новым средствам обезболевания и зорко следил за тем, чтобы хирурги при трепанациях не использовали долото. Разрешал стамеску. Это, казалось бы, похвальное требование, на деле выглядело эгоистичным чудачеством: медленное и осторожное «снятие стружки» стамеской сильно удлиняло продолжительность операции. Врачи посмеивались над чудачеством и всякий раз, когда не было опасности появления Воячека в операционной, пользовались тем инструментом, который нужен был, в том числе и долотом. Другой «пунктик» старого профессора касался метода осмотра носа. В его время пользовались небольшими щипчиками с винтом. Чуть ли не им самим придуманными. Требовалось долго вертеть винт, чтобы расширить ноздри больного. Воячек настаивал, чтобы в его клинике применяли только эти древние неудобные щипчики. Врачи злословили по поводу этого безобидного чудачества, но то ли из уважения к известному светиле, то ли из страха быть уволенными носили в кармане халата доисторические щипчики и современные щипцы.

– Как важно вовремя «уйти со сцены», – думал я, – прилагая строки Пастернака к мумии Воячека, – и как трудно это сделать, как нелегко оставить то, чему отдал жизнь.

Недолеченный покинул я клинику. Рецидивы преследовали меня с непостижимой регулярностью; затрудненное дыхание доводило до кошмаров. Я искал врача. По рекомендации попал в нежные, но уверенные руки (так и хочется написать «ручки») Зинаиды Федоровны Морозовой – врача лор-института на Бронницкой. Если существует предопределение профессии свыше, то Зинаиде Федоровне было определено стать врачом. Это читалось на ее лице, излучавшем доброту и сочувствие. Как же мне повезло! Зинаида Федоровна следила за последними достижениями в оториноларингологии. Вначале удаляла все выраставшие образования, а потом применила новые методы терапии и без операции избавила меня от кошмаров. Вот уже полвека нормально дышу. Исчезли не только симптомы, но и причины болезни. То, чего

не смог сделать известный хирург на операционном столе, сделали ее терпение, равнодушие, пытливость и поиск и, конечно, золотые руки.

Потом пришла старость. Со старостью пришли и болезни. В 70-е годы частые простуды заканчивались пневмониями. Появились другие хвори. Случайно в госпитале попал не в общее терапевтическое отделение, а в палату, предоставленную на время предзащитной практики адъюнкту (аспиранту) Военно-медицинской академии молодому врачу майору Вячеславу Максимилиановичу Успенскому. Как говорится, вытащил счастливый билет. Это был врач от Бога. Он лечил не болезнь, а человека. С годами стал доктором медицинских наук, известным терапевтом, полковником, главным терапевтом одного из флотов ВМФ. Своим долголетием я во многом обязан Вячеславу Максимилиановичу Успенскому, лечившему меня более двух десятилетий.

Везенье продолжилось. Вот уже полтора десятка лет меня и семью наблюдает и лечит замечательный кардиолог Вадим Павлович Эриничек. Написал «замечательный кардиолог» и задумался. Вправе ли человек, профессионально очень далекий от медицины, оценивать врача? Думаю – вправе, и не только по самочувствию после исполнения рекомендаций доктора. И даже не столько по оказываемому к тебе вниманию. Все это важно. Но когда ты видишь к тому же пытливость, поиск, широту взглядов, способность различать симптомы и причины, владение возможностями самых современных инструментов исследования и новейших возможностей фармакологии, а именно этими качествами отличается Вадим Павлович, ты понимаешь, что попал к замечательному врачу.

На пороге десятого десятка жизни, в пору, когда я работал над книгой, меня догнала тяжелая онкологическая болезнь. Пришлось выбирать между консервативным и радикальным лечением. Я долго колебался. Где уж, казалось мне, выдержать операцию в девяносто с хвостиком? Вадим Павлович убедил меня остановиться на хирургическом решении. «Ваше сердце, – уверял кардиолог, – выдержит, решайтесь». Но я всё еще колебался. Пока не попал на консультацию к Галине Николаевне Сологуб. Эта умная и, по-видимому, решительная женщина была так убедительна, что не только склонила меня к кардинальному решению, но тут же позвонила коллеге. Вопрос, кто и когда будет меня оперировать, был решен на месте. И я отдал себя в руки потомственного онкохирурга Олега Рюриковича Мельникова. В который раз вытащил счастливый билет. С благодарностью вспоминаю его внимание, его обнадеживающие слова и добрую улыбку. И конечно, благополучный исход.

От очарованности к разочарованию

Всенародное горе траурных дней 1924 года, а не только памятный вечер в день смерти Ленина, глубоко и надолго запало и в мою детскую душу. Тяжесть утраты я чувствовал ребенком, когда со страниц детских книг на меня смотрел маленький Володя, лоб которого прикрывал светлый локон, потом Володя-гимназист, давший после казни брата клятву пойти «другим путем», потом Владимир Ильич, смотревший на меня с добрым прищуром. Это были зримые образы. Но более глубоко и всеохватно на память и сознание действовала поэзия. Маяковский, любимый поэт моей юности, писал о Ленине «по мандату долга». Он видел в нем «самого человеческого человека». Для Пастернака Ленин был «как выпад на рапире». Полетаев с его хрестоматийным: «Портретов Ленина не видно, похожих не было и нет. Века уж дорисуют, видно, недорисованный портрет». И конечно, простые и пронзительные стихи Веры Инбер «Пять ночей и дней», одинаково трогавшие душу ребенка и взрослого. Вся поэзия работала на формирование образа вождя, гения, человека, унесшего с собой «частицу нашего тепла». Но только ли поэзия? Школа, улица, армия, посленэповские очереди за хлебом, где все вспоминали и связывали с его именем обилие недавних лет...

Но постепенно в моем представлении о Ленине появлялись трещинки.

Первую такую трещину я ощутил в юности, в «год великого перелома», когда до города и, естественно, до меня дошли зловещие слухи о творимых в деревне бесчинствах (городской мальчишка, я видел это на «колосках»⁵). А позже – лицемерное «головокружение от успехов», «голодомор» (об этом рассказ впереди). Все это происходило, когда Ленина уже не было, но делалось по его заветам.

Еще позднее – сотни записок с предписанием репрессий, арестов, взятия и расстрела заложников, священников, офицеров, инакомыслящих интеллигентов... О них я узнал позже, уже в армии, изучая «Ленинские тетради» на обязательных занятиях по марксистско-ленинской подготовке. Человеконенавистнический смысл этих записок-распоряжений тщательно затушевывался. Выпячивалась идея, что власть мало захватить, ее нужно любой ценой удержать.

Последний удар моей привязанности к вождю нанес 1970 год. В дни, когда вся страна праздновала 100-летие Ленина, я проводил отпуск в Средней Азии. В это время древний Самарканд отмечал 2500 лет (или 2700 – точно не помню) со дня основания. На всех столбах красовались небольшие таблички: «Ленин – 100, Самарканд – 2500». Это сравнение было символическим и в то же время смешным. А ничто так не избавляет от заблуждений, как смешное.

Все это расширяло давнюю трещинку до размеров пропасти. Я неуклонно шел от детской любви и очарованности к глубокому, самому горькому в жизни разочарованию. Кумир оказался кровавым идолом.

⁵ В тридцатые годы отправляли городских школьников-пионеров на село собирать колоски, оставшиеся на поле после уборки урожая. Собранные колоски сдавали в колхозную контору. Сбор колосков колхозниками для нужд голодной семьи считался уголовным преступлением и карался ссылкой или тюрьмой.

Голодомор и Геродот

В годы отрочества жил я на харьковской окраине. Одноэтажный пыльный переулочек больше напоминал сельскую улицу. В тихом уютном Змиевском переулке, не было ничего лишнего, все только нужное для тихой и уютной жизни. Немощенная, поросшая травой мостовая, дощатые тротуары, дома, в основном мазанки, нередко крытые соломой. На крышах через два дома на третьем – голубятни. Своя водоразборная колонка, своя повитуха Аграфена Силантьевна (дом под номером 17), вполне справлявшаяся с деторождением змиевчан, старательно заполнявших будущую демографическую «яму». Во дворах хозяева держали коров или коз. К весне собиралось большое стадо. Подрядившиеся пастухами мальчишки выгоняли скот на ближние загородные лужайки. В сумерки стадо возвращалось, и у калиток требовательно мычали буренки. Осенью тонкий аромат сена и антоновских яблок смешивался с запахами прелой травы и навоза. От расположенных неподалеку городских улиц доносились звонки трамваев, гудки автомобилей. Давала о себе знать цивилизация. Последними домами переулочка кончался столичный город.

Те годы, что я прожил в Змиевском переулке, вошли в мою память страшным народным бедствием – голодом, голодомором, как называют сегодня на Украине свалившееся на крестьянство несчастье. Сейчас известно, что голод охватил не только украинские села. Голодали крестьяне Ставрополя, Поволжья и других областей России. Но тяжелее всего голодомор ударил по украинскому крестьянству, больше других сопротивлявшемуся сталинской коллективизации. Как случилось, что голод охватил страну самых богатых в мире черноземов, веками кормившую знаменитой пшеницей пол-Европы? Ответ на этот непростой вопрос дала история. Память будоражат ужасные картины, разыгрывавшиеся на моих глазах в Змиевском переулке. Опухшие от голода женщины и дети, подползавшие к подворотне нашего дома, молившие о крошке хлеба и умиравшие у порога, не в силах отползти в сторону. На первых порах мы могли помогать каким-то счастливым. Потом это стало не просто трудно – невозможно. Мы сами жили впроголодь. Страшная картина голода была особенно заметна в таких переулках, как наш. Одним своим концом переулочек упирался в Змиевское шоссе, по нему шли из окрестных деревень обреченные на голодную смерть крестьяне. Дальше, на трамвайных улицах – Молочной, Плехановской, Грековской, милиция преграждала им путь. Может быть, поэтому жители нашего одноэтажного переулочка особенно глубоко переживали несчастья украинской деревни 30-х годов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.